

Петр ШМАКОВ

# ГОРБАЧ — НАШ ДРУГ

РАССКАЗ

Н О УЛИЦАМ деревни гуляла цинковая метель. В окно ничего нельзя было различить. Я собрался к Петьке. Сразу же за дверью просторенный сегом ветер хлестнул в лицо урывисто и бодро. Я с трудом пробежал метров триста и свернул к низкому навесу. В полусумраке отыскал дверь сенок, а там изыаную дверь и очутился в теплой, духовитой избе. Отряхнулся, огляделся. Петька сидел у окна на широкой лавке и читал «Три мушкетера».

— За книжкой? Да? — спросил Петька, не отрывая глаз от страниц. — Не закончил малость. Маманя вчера керосин спрятада — найти не мог. А в книге здорово! Во, давали! — Петька, не поднимая головы, потял восторженно кулаком перед моим носом. Я даже отодвинулся. А Петька без всякого перехода продолжал:

— Папаня письмо прислал. Вторую медаль получил. Во-о! Гонит папаня немчуру... Исть хочешь? Там в духовке турнепс пареный...

За дверью послышался шум, и в комнату вошла мать Петьки, Анна Кондрашкина. Фуфайка, платок, пимы — все было забито снегом. И казалась она снежной бабой. Сняла платок, отряхнула его, стянула с себя фуфайку и стала совсем тоненькой и маленькой женщиной.

— Перекусить забежала. Опять на конный бежать надо. — Голос у нее сильный, острый. — Лошадей должны к нам подогнать. С фронта, говорят, списали. А то совсем работать не на чем. Беда пряматаки...

Мы переглянулись с Петькой. И как только мать скрылась за дверью, Петька мигом скатился с лавки, стал одеваться. Он вытащил из старых, подшитых пимов соломенные старые стельки, бросил их в печку, а из-под запечья достал свежей, хрустящей соломы, свернул ее и сунул в нутро пимов.

Вдоль улицы все так же, не унимаясь, крутила хлесткая метель. Волнистая от сугробов дорога была убродная, и мы с трудом добрались до конного двора. Здесь работали наши матери, и мы им помогали, как могли. В конюшне тепло, густо пахнет навозом. От пола туманно парит.

— С фронта, а-а? — спрашивал уже в какой раз Петька. — С фронта, конечно же. А то откуда еще? Слышал ведь... Что еще?

— Из кавалерии? А, может, сам Казбек буденновский, а? Во, здорово?

— Казбек... Какой Казбек? Скажет тоже. То в гражданку было. Сколь прошло?

— А лошади сколько живут? А вот и не знаешь. Двадцать, а то и тридцать лет.

— А вот и не тридцать, а пятнадцать. В книжке читал, — перебил я Петьку. Он помолчал, насупленно посмотрел на

меня, неуверенно протянул:

— Ну да, в книге...

Петька любил книги. Принимал в них все за правду, и мой довод сразу же убедил его.

— Ну... ну, все равно... ведь с фронта...

И какими мы ни рисовали в своем воображении фронтовых лошадей — худыми, израненными, то, что увидели, потрясло нас.

Особенно худ был гнедой мерин. Высокий, костистый, горбоносый. Правое плечо его гноилось. Черные струпья покрывали рану. Мерин смотрел на нас умными лиловыми глазами и будто понимал, чем вызвал нашу жалость. Мы стояли у этого моластого скелета и подавленно молчали. Петька вынул из кармана черный сухарь и на ладони протянул его к губам лошади.

(Окончание следует)

// Заветы Ленина, 1976, 3 июня, с. 4.